

## ЧЕХОВ В XX ВЕКЕ: CONTRA ET PRO

© 2010 г. В. Е. Хализев

В статье рассматриваются различные, порой полярные оценки творчества Чехова литераторами XX века; уясняются причины широко бытующего и поныне неприятия писателя.

Different, at times, polar evaluations of Chekhov's work by Twentieth-century authors are analysed; reasons for a still wide-spread negative attitude towards Chekhov are clarified.

### I.

В кругу писателей (и еще в большей мере поэтов) репутация Чехова в XX веке была и поныне остается весьма неоднозначной. Его творчество, как известно, решительно не принималось многими лидерами Серебряного века (в особенности поэтами). Это Анненский, Ахматова, Кузмин, Ходасевич, Цветаева, Мандельштам. Порой звучали слова весьма жесткие: “сухой ум”, который “хотел убить в нас Достоевского”, “испытываю отвращение”, “убил бы своими руками”. Неоднократно цитировалась реплика Цветаевой из письма А. Тесковой: “Чехова с его шуточками, прибауточками, усмешечками ненавижу с детства”. А вот слова Мандельштама: «Чехов забирает сачком пробу из человеческой “тины”, которой никогда не бывало» [1, с. 522]. В год чеховского юбилея (1910) Д.С. Мережковский писал: “Надо сознательно отодвинуть Чехова в прошлое” [2, с. 208].

В своей “античеховской энергии” всех намного превзошел М. Кузмин. В каждом из периодов русской и западноевропейской литературы XIX века (одно или два десятилетия) он выделял центральную “фигуру”. Это Гофман, Пушкин, Бальзак, Диккенс, Достоевский и, наконец, Чехов, о котором сказано: “...очень местно, хотя и нагадил” [3, с. 101]. Творчество писателя здесь отвергается предельно жестко (чтобы не выразиться посильнее), однако его *эпохальная* значимость под сомнение не ставится.

Чехов, как видно, не просто оставлял к себе равнодушными названных поэтов, но странным образом их раздражал, вызывал сильные отрицательные эмоции, подобные тем, которые испытывал к Чернышевскому Набоков, автор романа “Дар”.

Предельная резкость высказываний любого из “античеховцев” начала XX века имеет в каж-

дом отдельном случае свои, особые основания и мотивы. Но в них наличествует некая эпохально-миросозерцательная закономерность. Иначе говоря, имеет место *несовместимость* наследия Чехова и, что не менее важно, самой его личности с атмосферой Серебряного века. И на протяжении последнего десятилетия эта несовместимость стала вызывать пристальный интерес. При этом “античеховиана” начала XX века истолковывается очень по-разному. Лев Лосев в неприязни к Чехову Ахматовой был склонен видеть стремление уйти подальше от своего же предшественника (“невроз влияния”) [4, с. 214], что имеет свои резоны, хотя и не объясняет напряженной резкости ахматовских (и не только ахматовских!) высказываний о писателе. Александр Кушнер усмотрел причину “нравственной глухоты” к Чехову его младших современников в самой атмосфере революционного брожения: начало XX века ознаменовалось “сокрушительным напором, сдвинувшим и охватившим всех, независимо от идеологических пристрастий и сочувствий”: людям «хотелось решительных действий, героизма, “неслыханных мятежей” и перемен» [5, с. 194–195]. И это тоже имеет серьезные резоны.

Обстоятельно и проблемно высказалась о далеко не однозначной репутации Чехова в XX веке И.Е. Гитович. Во-первых, она утверждает, что неприятие творчества и личности писателя порождалось однообразно-монотонными хвалами ему, “безмерным восхищением перед ним”. И это никаких сомнений не вызывает. Во-вторых, она говорит (опираясь на суждения Л.Я. Гинзбург), что Чехова отвергали потому, что он оказался несовместим с “индивидуалистическим пластом” сознания интеллигенции эпох символизма и постсимволизма, с индивидуализмом, “во многом задававшим тон русскому художественному XX веку” [6, с. 17, 20]. В связи с этим выскажу несколько дополнительных соображений.

Несовместимость ценностных ориентаций большинства представителей Серебряного века и деятелей культуры XIX столетия была двоякого рода. Во-первых, она имела место на уровне художественно-эстетическом: произошла решительная переориентация с прозы на поэзию (по преимуществу созерцательно-философского характера). По словам Л.В. Пумпянского, символистам было присуще “верное чувство противоположности по отношению к прозе Достоевского, Л. Толстого, Чехова” [7, с. 536]. И оно, это чувство, оказалось направленным прежде всего на близкого по времени Чехова.

И, во-вторых: разнонаправлены, если не полярны, были антропологические воззрения и нравственные ориентации этих двух эпох. Поэты Серебряного века и их продолжатели отчуждались от быта и жизненного уклада. Своими мыслями и стилем поведения они решительно удалялись от обычной жизни обычных людей с ее тревогами и печалью, пребывали совсем в иных, “надмирных” сферах, где, случалось, “добро и зло спешили в одной упряжке” (выражение С. Довлатова). Об односторонне элитарной настроенности в литературных кругах той поры свидетельствует широко бытовавшая оценочная поляризация двух типов людей: немногих избранных (поэтов) и всех прочих, саркастически именованных “фармацевтами”. К числу первых Чехов не принадлежал, стало быть, внимания и уважения достоин не был. На этот односторонне-элитарный, порой надменно-снобистский мотив неприятия Чехова может пролить свет обращение к психоанализу, но не во фрейдовском и даже не в юнговском его варианте, а в аспекте нравственной философии. Вытесненные из сознания и тем самым болезненно перерожденные комплексы человеческой психики бывают, по-видимому, глубинно связаны и с импульсом *совестным*, если можно так выразиться. Вподобных ситуациях человек, не сознавая того, испытывает напряженное нежелание признавать свою виновность и даже возможность таковой. И активные носители представлений о нравственных императивах, о долге, ответственности, служении неотвратимо вызывают стихийный протест, страстное неприятие, переживания, достойные пушкинского Сальери. Говоря же проще, произведение Чехова и сама его жизнь (неустанная, жертвенная забота об очень неблагополучной семье; трудная поездка на Сахалин, продиктованная чувством гражданской ответственности; многоплановое и постоянное участие в общественной жизни) для людей околосимволистской среды была своего рода живым укором, задумы-

ваться о чем они, конечно же, не хотели. Чехов с его неукоснительным императивом “гуманности до кончика ногтей” решительно не вписывался в эпоху, ознаменованную мощным влиянием Ницше, революционного марксизма, “третьезаветного христианства”.

Упорное нежелание писателя погружаться в сферу отвлеченно-созерцательного мышления (вспомним его слова: “рассуждения всякие мне надоели” [8, с. 133]) или присоединяться к “радикализму” любого рода казались проявлениями узости кругозора, обывательской ограниченностью. Мережковский, вспоминая Марк Алданов, приставал к Чехову с “вечными вопросами”, а тот, отшучиваясь, говорил: “Не забудьте, что у Тестова к селянке большая водка нужна”. И комментировал этот эпизод так: “Надо было наговорить столько лишнего, сколько мы наговорили, чтобы понять, как он (Чехов. – В.Х.) был прав, когда молчал” (цит. по: [9, с. 57]). К этим словам Алданова трудно не присоединиться. Более подробно об этом “диалоге” Мережковского и Чехова рассказал С. Кванин (см.: [10, с. 11]).

Отчуждение Серебряного века от XIX столетия вместе с тем имело место не всегда. «Волнение идет от “Войны и мира”, – делал запись Блок летом 1909 года, находясь в Италии, – распространяется вширь и захватывает всю мою жизнь и жизнь близких и близкого мне» [11, с. 147]. О том же и тогда же – в письме матери: «...читаю “Войну и мир” и перечитал почти всю прозу Пушкина. Это существует». В последних словах ощутимо противостояние общему мнению, своего рода полемический задор. Восторженно относился поэт к Чехову в его “подаче” Художественным театром, о спектаклях которого вспоминал в Венеции: это “не уступает Беллини” [12, с. 289, 283]. Но подобного рода суждения были своего рода исключением на фоне всего того, что современниками Блока говорилось об искусстве XIX века (в особенности – о художественной прозе).

## II.

На протяжении полувека, от 1930-х до 1980-х годов, Чехов в нашей стране был официально канонизирован как предшественник Горького. Если литературоведы и упрекали писателя, то лишь в том, что он “не дорос” до революционного марксизма. Но критичность к Чехову, имеющая совсем иные истоки, давала о себе знать и в эту пору, при том – в высказываниях наших гуманитариев “первого ряда”. Так, М.М. Бахтин на протяжении всей своей жизни считал Чехова

ограниченным социально-бытовыми рамками, приписывал ему понимание человека как большого животного, говорил об отсутствии в его произведениях “глубины и силы” [13, с. 384]. Выход за рамки “обывательских представлений” философ-ученый усматривал лишь в “Черном монахе”. Произведения Чехова, утверждал он, – это “шедевр из папье-маше” [14, с. 597–600]. Причины неприятия чеховского творчества Бахтиным просматриваются легко: к русской романистике (за исключением Достоевского) он относился весьма отчужденно: иронически называл романы Л. Толстого, Тургенева, Гончарова “усадебно-домашне-комнатно-квартирными” [15, с. 192–193]. Чехов, несомненно, для него попадал именно в этот ряд и к тому же далеко не на первое в нем место.

Доброжелательно-критичен был к Чехову М.Л. Гаспаров. Высоко оценивая человеческие качества писателя [16, с. 188], он признавал, что чеховские произведения сохраняют актуальность и ныне, откликнулся на рассказ “Скрипка Ротшильда” как ему созвучный и близкий [9, с. 346, 377], но в то же время считал, что творчество писателя – это лишь “легковооруженный арьергард национальной классики, уже ощутимо инородный” [17, с. 204].

Репутацию Чехова как писателя первого ряда оспаривали известные филологи Н.К. Гудзий и Н.И. Либан. А.И. Солженицын упрекал писателя в безоглядном обличении русской жизни как таковой (см.: [18]). Он не учитывал ни того, что в чеховских произведениях находилось место и персонажам, причастным укорененному в России праведничеству, ни того, что писатель не притязал на создание энциклопедии русской жизни, а ставил диагноз той болезни, которую претерпевало общество его времени.

Совсем иными (полярными солженицынским) явились жесткие суждения о Чехове других писателей близкого нам времени. У истоков этой ветви “античеховианы” (и хронологически, и сущностно) – А.Д. Синявский, автор книги “Голос из хора” (1973). Основываясь на письмах писателя (и *только* на них) и при этом не учитывая органичную для писателя шутливость, Синявский нарисовал Чехова вечно скучающим, нечутким к искусству и даже писательство мыслившим как профессию “невзрачную”. “И это страшно”, – добавлял он [19, с. 448].

В книге Елены Толстой (1994) с суровым неодобрением говорится, что имела и имеет место “наивная версия о гуманном, страдающем Чехове, ходатае за измученную совесть интеллигенции”. Далее писатель именуется “столпом

чахоточной гуманности”, а почитателям Чехова предъявляется обвинение, что они “закрывают глаза на негативную природу его творчества”, которое являет собой лишь плод “студенческих недосыпов и социальных судорог мещанина во дворянстве”. Чехов, пишет Толстая, был “непривычно-задиристым, агрессивным”, “свирепо-ироничным и неизменно раздраженным” [20, с. 7–10]. Н.Л. Трауберг, отвергнув суждения Е. Толстой, объяснила их так: “Ненависть к Чехову, которая возникла в конце 1960-х годов или немного раньше”, была следствием “антитрадиционализма” ряда радикальных оппозиционеров той поры, их “неофитской злобы” [21, с. 144–148].

Подобно Е. Толстой, ненависть к Чехову испытывал Дмитрий Галковский. Он, в частности, утверждал, что писателю был присущ “русский инстинкт предательства” [22, с. 780]. Подобных высказываний у этого автора много. В том же роде – статья Виктора Ерофеева с говорящим названием “Между кроватью и диваном (А.П. Чехов)” (см.: [23]) и выступление по радио “Свобода” (1980-е гг.) Василия Аксенова (см.: [24]), а также недавно появившаяся книга М.Н. Золотоносова, где Чехову (в числе многого другого) предъявлялся упрек в карьеризме (см.: [25]).

Имели место античеховские выпады (пусть и не столь жесткие) также у Иосифа Бродского (на эту тему написана содержательная статья А.Д. Степанова) (см.: [26]). Вот одно из высказываний поэта: Чехов не нравится, ибо он “не метафизичен” и ему “недостает душевной агрессии” [27, с. 335]. Этот упрек, заметим, диаметрально противоположен суждению Елены Толстой, которая была недовольна именно агрессивностью Чехова (мнимой, конечно же!).

Остановимся несколько подробнее на “античеховиане” талантливом и своеобразном литературоведе-философе М.Н. Эпштейна, опорное слово которого в суждениях о писателе – пошлость: “великий мастер создавать двойную пошлость и тем самым снимать впечатление пошлости”. Далее – в том же роде: “Чехов... был так же банален, как его герои”; у него имеет место “критика мерзкой пошлости с позиций пошлости благородной”. При этом истоки приписываемой им Чехову пошлости Эпштейн усматривает в самом существовании русской жизни: “В Чехове Россия нашла свой идеал секулярности... которая снимает религиозное напряжение культуры”. И, пожалуй, самое сильное суждение: “писателю была присуща склонность отшучиваться от серьезных вопросов”, и это “всех умиляет” [28, с. 193, 511, 507, 510]. Этот упрек Чехову в подмене серьез-

ности шутливостью, заметим, явственно переключается с цветаевским (“шуточки, прибауточки, усмешечки”). В обоих случаях писатель мыслится как несерьезный, ограниченный, “пустой”.

### III.

Полемика с Чеховым, порой весьма острая, как видно, имела место на протяжении всего истекшего столетия. В ней еще предстоит разбираться. Непредвзято, спокойно, неспешно.

“Античеховиана” XX века (в ее доминирующем пласте) *редуцирует* художественный мир писателя до унылых житейских будней. Эта грань жизни чеховских героев безусловно значима. По меткому выражению А.П. Скафтымова, они “барахтаются” в “массе обиходных мелочей” [29, с. 388].

Но “античеховцы” не замечают или не хотят замечать весьма широкий круг умонастроений и переживаний героев писателя: интимно-личных, духовных, интеллектуальных, которые так или иначе связаны с их стремлением к лучшему (о чем тоже настойчиво и убедительно говорил Скафтымов).

Широко бытующая редукция чеховского творчества имеет определенные социально-культурные корни. В русском общественном сознании (от начала XX века и до наших дней) наличествует некий мирозерцательно-психологический комплекс, в составе которого – апология личности исключительной (будь то поэт или философ), не вовлеченной в жизнь людей “обычных”, взгляд на них свысока, погруженность в мир неких “всеобщностей”. По сути дела причиной раздражения против Чехова людей подобного склада были его широкая известность и напряженный интерес, благодарное доверие к нему великих человеческих множеств: вызывало чувство досады то, что Чехов “стал собственностью всей нации” [30, с. 396]. Именно душевное родство писателя с бескрайне широким кругом читателей и его времени, и последующих эпох вызывало неприязненное чувство к нему самому и к его почитателям. “Его тайна, – саркастически замечал Ерофеев, – что он всех устраивал... был и остается всеобщим любимцем” [23, с. 454–455]. О том же и с той же интонацией говорил Эпштейн, сетуя, что *все* любят Чехова, ибо “с ним можно восставать против пошлости и одновременно покоиться на ее мягком ложе” [28, с. 507]. Здесь возрождается бытовавшее в околосоциалистической среде противопоставление немногих избранников, занятых “высокими материями”, и всех остальных,

к чему-либо “метафизическому” не способных. Так нынешняя “античеховиана” протягивает дружескую руку “античеховцам” начала XX века.

На протяжении всего истекшего столетия недоброжелателям Чехова имелся весьма широкий фронт противостояния. Здесь не одни только исследователи творчества писателя, но и такие крупные деятели русской культуры, как И.А. Бунин, К.И. Чуковский, В.В. Набоков с его замечательной статьей о повести “В овраге”. Прочитав Н.А. Бердяева: западные люди, “читая Толстого и Достоевского... Тургенева и Чехова”, должны “быть поражены” душевной жизнью русских людей, их открытостью, “способностью к общению” [31, с. 253]. К месту вспомнить Б.Л. Пастернака, у которого доктор Живаго ставит Чехова рядом с Пушкиным; Б.К. Зайцева, И.Г. Эренбурга, С.П. Залыгина – авторов восторженных и благодарных книг о Чехове; Ю.М. Лотмана и А.Г. Битова, считавших вершинами нашей литературы творения Пушкина, Толстого, Чехова. С.С. Аверинцев назвал шесть крупнейших русских художников слова (от Пушкина до Пастернака), у которых в тайне и тишине “раскрывается самое глубокое: ровное свойство человека быть человеком”, поставив в этот ряд и Чехова [32, с. 235].

Нет оснований сомневаться, что Правду (с заглавной буквы!) содержат именно такого рода суждения. Они “премного тяжелее” многочисленных выпадов против Чехова. Третирование писателя, а порой и издевки над ним – это, по сути, спор не с обывательской массой поклонников “знаменитости”, а со многими выдающимися деятелями русской культуры XX века.

“Античеховиана” XX века (при всей широте ее распространенности), стало быть, авторитета не обрела. И – не обрела.

Важно и другое. Отрицатели Чехова как классика русской литературы несостоятельны, ибо они основываются на устаревшем представлении о “малых величинах” человеческой реальности, о повседневности, житейской прозе, быте (которые столь важны у Чехова), как о чем-то заведомо низменном и достойном лишь надменного отвержения. “Античеховцы” в их большинстве находились и находятся в плену романтико-символистской концепции двоимирия, где немногие исключительные личности ценностно противопоставляются людям обыкновенным, большинству. От всего этого наука, как и культура в целом, ушла весьма далеко. Яркое свидетельство тому – труды представителей французской “Школы Анналов”. Марк Блок, Люсьен

Февр, Фернан Бродель, в отличие от прежних историков, обращавшихся по преимуществу к крупным событиям государственной и военной жизни, масштабным личностям, поворотным моментам в жизни народов и всего человечества, сосредоточились на стабильных состояниях общества, на медленно протекающих процессах, на “структурах повседневности” и явленном в них менталитете (см.: [33]). У нас в этом русле – работы А.Я. Гуревича и Г.С. Кнабе. Пребывание человека в непосредственно близкой ему среде (“микросреде”), “на своем месте”, как выражался А.В. Михайлов, предстает при этом не как нечто враждебное человеческому духу, а в качестве важнейшем стороны (если не доминанты) существования социумов и отдельных лиц.

Подобных же представлений об обычном, бытовом, повседневном придерживаются и многие наши литературоведы. По словам В.Н. Топорова, «быт по своей идее и этимологии означающего это понятие слова – нечто положительное, хотя бы в варианте – устойчивое. Говорят и о неустойчивом быте, и о катастрофическом быте, но это означает быт ущербный в своей “бытности”», это лишь «тень быта, смутный очерк его, где уже поселилось или поселяется “небытьё-небытие”» [34, с. 52–53]. О том же – суждение С.Г. Бочарова: в “Евгении Онегине” запечатлено “глубокое переживание прозаической сущности жизни” [35, с. 202]. Приведу и слова А.И. Журавлевой, автора книги об Островском, недостаточно замеченной, но имеющей принципиальную значимость для понимания русской классики: “Дело героев Островского – быт, быт как бытие, как способ жить, а не погибать в мире” [36, с. 215].

В этой же перспективе рассмотрел чеховские пьесы Б.И. Зингерман, утверждавший, что решающее значение для Чехова имели “постоянные душевные усилия, проявляемые... перед лицом незаметных и нескончаемых требований повседневности” [37, с. 93]. Сходные мысли находим в статье И.Н. Сухих о художественной философии писателя: быт как таковой (и у Чехова в частности) “в равной мере обязателен для всех”, ибо жизнь есть “сосредоточенное нравственное усилие”. И далее: герои писателя “подвергаются испытанию бытом, и выдержать его – значит, по Чехову, не потерять лица и в катастрофической ситуации” [38, с. 155, 167, 179]. Оспорить эти суждения вряд ли кому-нибудь из античеховцев под силу. Призыв писателя сохранять свое лицо при любых обстоятельствах, хочется надеяться, станет для нас в XXI веке более явственным и внятным. И тогда “античеховиана” пойдет на убыль. Если, конечно, вненравственным ориентациям общественно-

го сознания, весьма характерным для истекшего столетия, суждено отступить.

Думается, что дальнейшее изучение исполненной глубочайшего драматизма репутации Чехова поможет яснее понять не только историю литературы и театра близких нам эпох, но и русскую жизнь XX века как таковую: в ее многогранности и противоречивости, в ее несовместимостях, в ее связях как с Золотым (пушкинским) веком, так и во многом инаправленным веком Серебряным.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Мандельштам О.Э.* О пьесе А. Чехова “Дядя Ваня” (набросок) // *Мандельштам О.Э.* Собр. соч. В 4 т. Т. 3–4. М.: Terra, 1991.
2. *Мережковский Д.С.* Брат человеческий // Чеховский юбилейный сборник. М., 1910.
3. *Кузмин М.А.* Чешуя в неводе (только для себя) // Стрелец. Сборник третий и последний. Под ред. Александра Беленсона. СПб., 1922.
4. *Лев Лосев.* Нелюбовь Ахматовой к Чехову // Звезда. 2002. № 7.
5. *Александр Кушнер.* Почему они не любили Чехова? // Звезда. 2002. № 11.
6. *Ирина Гитович.* Литературная репутация Чехова в пространстве российского XX века: реальность и аберрации (к постановке вопроса) // *Studia Rossica XVI. Dzelo Antoniego Czechowa dzisiaz, Warszawa, 2005.*
7. *Пумпянский Л.В.* Памяти В.Я. Брюсова // *Пумпянский Л.В.* Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000.
8. *Чехов А.П.* Полн. собр. соч. В 20 т. М., 1944–1951. Т. 16.
9. *Гаспаров М.Л.* Записи и выписки. М., 2008.
10. *Кванин С.* О письмах Чехова. (Уединенно верующий). М., 1914.
11. *Блок А.А.* Записные книжки. 1901–1920. М., 1965.
12. *Блок А.А.* Собр. соч. В 8 т. Т. 8. Письма. 1898–1921. М.; Л, 1963.
13. *Бахтин М.М.* Собр. соч. В 6 т. Т. 2. М., 2000.
14. *Чудаков А.П.* Бахтин о “Поэтике Чехова” // Тыняновский сборник. 13. Двенадцатые-тринадцатые-четырнадцатые Тыняновские чтения. Исследования. Материалы. М., 2009.
15. *Бахтин М.М.* Проблемы поэтики Достоевского. 3-е изд., М., 1972.
16. “Читать меня подряд никому не интересно...” Письма М.Л. Гаспарова к Марии-Луизе Ботт. 1981–2004 // Новое литературное обозрение. № 77 (2006).

17. Ваш М.Г. Из писем Михаила Леоновича Гаспарова. М., 2008.
18. Катаев В.Б. Солженицын о Чехове: полемика по умолчанию // Катаев В.Б. Чехов плюс... Предшественники, современники, преемники. М., 2004.
19. Синявский А.Д. Собр. соч. В 2 т. Т. 1. М., 1992.
20. Елена Толстая. Поэтика раздражения. Чехов в конце 1880-х–начале 1890-х годов. М., 1994.
21. Наталья Трауберг. Сама жизнь. СПб., 2008.
22. Дмитрий Галковский. Бесконечный тупик. Т. 1–2. М., 2008.
23. Виктор Ерофеев. Страшный суд. Роман. Рассказы. Маленькие эссе. М., 1996.
24. Василий Аксенов. Афиша гласила (к 120-летию Чехова) // Василий Аксенов. Десятилетие клеветы. Радиодневник писателя. М., 2004.
25. Золотоносов М.П. Другой Чехов. По ту сторону принципа женофобии. М., 2007.
26. Андрей Степанов. Бродский о Чехове: отвращение, соревнование, сходство // Звезда. 2004. № 1.
27. Иосиф Бродский. Большая книга интервью. М., 2000.
28. Михаил Эпштейн. Слово и молчание. Метафизика русской литературы. М., 2000.
29. Скафтымов А.П. Поэтика художественного произведения. М., 2007.
30. Святополк-Мирский Д.П. История русской литературы с древнейших времен (1925 год). М., 2008.
31. Бердяев Н.А. Самопознание. М., 1991.
32. Аверинцев С.С. Связь времен. Киев, 2005.
33. Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая деятельность // Философия и методология истории. М., 1977.
34. Топоров В.Н. Петербургский текст. М., 2009.
35. Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999.
36. Журавлева А.И. А.Н. Островский – комедиограф. М., 1981.
37. Зингерман Б.И. Время в пьесах Чехова // Театр. 1977. № 12.
38. Сухих И.Н. Проблемы творчества А.П. Чехова. Л., 1987.